

A painting of a winter scene. A dark, gnarled tree trunk and branches are the central focus, adorned with clusters of bright red berries. The background is a soft, pale yellow, suggesting a hazy or snowy day. In the lower half, a snow-covered landscape is visible, with a small, dark structure partially buried under the snow. Two small birds are perched on the branches, one near the top right and another slightly lower. The overall style is impressionistic, with visible brushstrokes and a warm, cozy atmosphere.

Сергей Прокопьев

**ДРАГОЦЕННАЯ
МОЯ
ДРАГОЦЕНКА**

ПОВЕСТИ

16+

Сергей Прокопьев
Драгоценная моя Драгоценка

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Прокопьев С. Н.

Драгоценная моя Драгоценка / С. Н. Прокопьев — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Как в капле воды отражается море, так в истории казачьего рода Кокушиных («Драгоценная моя Драгоценка») отразился жестокий XX век. Гражданская война вытеснила забайкальских казаков в Китай, в Маньчжурию. В Трёхречье они поставили 19 деревень и жили по казачьим традициям, в духе православной России. На Родину одних силой вернул СМЕРШ, другие ехали по зову сердца. Трудно русскому вне России, но и на родине непросто. Об этом повесть «Крест для родителей». Её героиня родилась в Харбине – столице КВЖД, русском городе в Китае. Но китайцам построенная русскими железная дорога нужна была без русских.

© Прокопьев С. Н., 2019

© ЛитРес: Самиздат, 2019

Содержание

От автора	5
Драгоценная моя драгоценка	7
Туда, где брошена пуповина	8
Прокопий	11
Ганя	17
Материализм Прокопия	21
Троебратное	27
Афанасий и Митя	30
Пропастину из Кремля	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

От автора

В эту книгу вошли две повести – «Драгоценная моя Драгоценка» и «Крест для родителей». Лет двадцать назад я вышел на интересную тему (или она меня нашла) – русские в Маньчжурии. В разные годы написались повести «Дочь царского крестника», «Кукушкины башмачки», «Крест для родителей», «Везучий из Хайлара», «Бабушка Пелагея из Тыныхэ», ряд рассказов. Их герои родились в Китае, детство и юность провели в Маньчжурии. И тут интересно не то, что они жили в «экзотических» местах, а то, что они на чужбине воспитывались в духе дореволюционной, православной России. И, сами того не осознавая, сохраняли в себе ту русскость, которая всеми способами «упразднялась» на родине. Так они жили до середины пятидесятих годов прошлого века. А потом произошёл исход из Китая. Кто-то уехал в Австралию, Бразилию, Аргентину, но основная масса – в Советский Союз. Один из «русских китайцев», поэт Алексей Ачаир (Грызлов), сам по родословной из сибирских казаков, напишет:

Не сломила судьба нас, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли.
И за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету её разнесли.

На самом деле «разнесли». И дотянулись до наших дней живыми свидетелями той России, которая начиная с 1917 года, уничтожалась на своей земле, в своих географических пределах. Моё знакомство с «русскими китайцами» началось с Елены Николаевны Захаровой, а дальше пошло по закону цепной реакции. Я открывал для себя полные драматизма судьбы, открывал русский Харбин, русские станции по Китайской Восточной железной дороге (КВЖД): Бухэду, Хайлар, Ананси... Там служились литургии в православных храмах, учились дети в русских гимназиях, господствовала русская речь. Поначалу эти места обживали строители КВЖД и те, кто пришёл вместе с ними в Маньчжурию в конце девятнадцатого, начале двадцатого века, после революции к ним добавился мощный поток беженцев из России.

В один из счастливых дней судьба свела с Павлом Ефимовичем Кокухиным, и я открыл ещё одну страницу «русского Китая» – Трёхречье. На небольшом клочке земли, в благодатном, плодородном уголке Маньчжурии забайкальские казаки, убежав от советской власти, практически на пустом месте основали девятнадцать посёлков и зажили по православным и казачьим традициям. Нельзя было равнодушно слушать Павла Ефимовича, его рассказ о казачьем роде Кокухиных. Двадцатый век прошёлся по нему колесом революции и разорвал на две части: одна осталась в России, вторая ушла за Аргунь – в Трёхречье. Но обе ветви по обе стороны пограничной Аргуни так или иначе познали на себе коллективизацию, ГУЛАГ, идеологическую нетерпимость. В Трёхречье забайкальским казакам удалось продлить дореволюционную Россию почти на тридцать лет. Но только и всего. Хотя за это время подросло ещё одно поколение, которое принесло с собой в Советский Союз казачьи гены и гены той, имперской, России.

В истории этого рода, как в капле воды, в которой отражается океан, отразился двадцатый век. Век, перемалывающий государства, семьи, насаждающий безбожие, закабаляющий человека под видом либеральных свобод, нивелирующий его, сгребаящий человечество в города и в то же время атомизирующий нас, тасующий, как колоду карт, рвущий родственные связи, внедряющий в человека эгоизм, гордыню...

Как-то подумалось: я становлюсь «историческим писателем». К работе зачастую вдохновляет история жизни того или иного человека. Мария Никандровна, героиня повести «Крест для родителей», на закате жизни вспоминает город детства и юности, русский город в Маньчжурии – Харбин. Он, несмотря на революцию 1917 года, японскую оккупацию, жил (как и все

станции КВЖД, многие десятки сёл и деревень Маньчжурии) русским укладом до середины пятидесятых годов. Затем под воздействием китайской цивилизации Харбин начал утрачивать свою неповторимость, разъехались его основатели, их потомки – русские харбинцы. Однако ещё стоят православные кресты на кладбище, ещё возжигают на могилах свечи, таинственным образом жива русская душа Харбина. Мария Никандровна, человек пожилой, одинокий, снова и снова воскрешает в памяти картины прошлого. В Харбине осталось солнце детства, в Харбине похоронила родителей. Почти полвека носила в душе занозу – как там осиротевшая могила? И лишь на закате жизни увидела фотографию памятника, под которым лежат родители, мраморный крест для него когда-то несла на плече через пол-Харбина.

Повесть родилась из долгих телефонных разговоров с Марией Николаевной Тепляковой, в конце пятидесятых годов приехавшей из Харбина в Омск. У Марии Николаевны болели ноги, в последние годы жизни она практически не выходила из дома, единственной связью с внешним миром стал телефон. В течении двух лет мы время от времени звонили друг другу, я слушал-слушал... Сначала из любопытства, а потом «замкнуло», начал целенаправленно расспрашивать, уточнять детали, осмысливать рассказы собеседницы...

Драгоценная моя драгоценка

Повесть

Они не будут уже ни алкать, ни жаждать,
и не будет палить их солнце и никакой зной:
ибо Агнец, Который среди престола,
будет пасти их и водить их на живые источники
вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их.

Откровение Иоанна Богослова, гл. 7, ст. 16–17

Туда, где брошена пуповина

Мы стояли на вершине сопки. Внизу до горизонта зелёным морем простиралась тайга. Отец показал рукой на восток:

– Вон там шла дорога, по ней мы с мамой, братьями Федей, Кешей, сестрой Соломинидой шестьдесят лет назад уезжали в Китай, в Трёхречье.

Я впился глазами в указанную сторону, будто мог разглядеть среди тайги дорогу, бабушку, дядюшек, тётушку, восемнадцатилетнего отца, бежавших за Аргунь, в Маньчжурию, в безлюдные земли и леса Северо-востока Китая.

В 1920 году бабушка Агафья Максимова, оставив трёх старших сыновей – Ивана, Василия и Семёна – в Забайкалье, в казачьем поселке Кузнецово (Иван и Василий жили своими семьями), с младшими детьми поехала за Аргунь. Думала обжиться в Трёхречье, переждать бурю, присмотреться, а как смута уляжется, будет видно, где всем соединиться – в Китае или в родном Кузнецово.

Первый поток беженцев устремился из Забайкалья в Трёхречье в разгар Гражданской войны – в восемнадцатом-девятнадцатом-двадцатом годах. Уходили за Аргунь казаки-крестьяне, и те, кто воевал у белых и бежал от красных, и те, кто сражался за идеи красных и бежал от преследования белых. Одних гнали победители, другие не хотели воевать ни за тех, ни за других и скрывались от мобилизации. Граница была условной, а Северо-восток Китая пустынным материком манил к себе, вселял надежду на мирную, привычную жизнь. Казаки начали ставить деревни по берегам Хаула, Дербула, Гана и их притокам, что берут начало на отрогах Большого Хингана.

Бабушка с детьми выбрала Драгоценку, ставшую вскоре центром русского Трёхречья. Почему станица и речка, на которой она стояла, получили столь необычное название, мне так и не удалось выяснить. Кто тот казак, у которого вырвалось почти сказочное, с просверком алмазных граней – Драгоценка? В окрестных сопках имелись залежи плавикового шпата (или флюорита), а по берегам Драгоценки было полно прозрачных, разноцветных, на все цвета радуги – зелёные, белые, голубые, розовые, красные, жёлтые, оранжевые – плоских камешков. Камнерезы Европы и Азии издавна использовали флюорит для имитации драгоценных камней – аметиста, изумруда, рубина, сапфира, топаза. В Драгоценке таких мастеров-ювелиров не имелось, тем не менее не только под ногами валялась красота, на кладбище было принято украшать могильные холмики, обкладывая разноцветными камешками.

У нас в красной избе стоял на тумбочке кристалл – молочно-белый, островерхий, как башни Московского Кремля. Нет, больше походил на высотное здание Московского университета. Я как в первый раз фото университета в журнале увидел, вспомнил наш кристалл. Жаль, почему-то не взяли его в Советский Союз.

И ещё... У Константина Седых в романе о забайкальских казаках «Даурия» есть речка Драгоценка. Она явно «берёт начало» от трёхреченской. Забайкальский писатель, конечно, знал о ней и не смог пройти мимо звучного названия...

А вообще Трёхречье издавна привлекало к себе казаков. С тех самых пор, как с конца семнадцатого – начала восемнадцатого века принялись ставить караулы по левому берегу Аргуни, обозначая на этих землях присутствие России. По крестьянским надобностям перебирался служивый люд на правый берег – сено косили, скот пасли, охотились. С той поры появились в Трёхречье первые заимки и зимовья казаков-забайкальцев. Заповедная территория лежала безлюдной. Редко когда встречались кочевники – немногочисленные тунгусы, баргуты, орочены, монголы. Они были каплей в море – богатый лесами, травами, зверьём, чернозёмом край лежал пустынным, безлюдным материком...

И ждал, кто же снова придёт в его пределы...

В начале пятидесятых у нас был покос в устье Гана. Добрая половина Драгоценки в том месте заготавливала сено. Заливные обширные луга, отменный травостой. Рядом с покосами на возвышенности располагалось древнее городище. Квадрат, обнесённый высоким земляным валом. А перед ним, с внешней стороны, – остатки рва. В одном месте вал имел проход, наверное, для въезда... Косари использовали древнее сооружение под хозяйские надобности. В городище было много ям. Для чего их вырыли – не знаю, глубиной метра четыре-пять, по сторонам метра полтора на полтора. Стены ровные, плотные, как кирпич. В ямах косари хранили мясо. Отец с кем-нибудь из старших братьев на вожжах опускал меня и подавал свежую баранину (тунгус где-нибудь рядом нашу отару пасёт, отец съездит, привезёт) или вяленую свинину. Или я, стоя на дне ямы, привязывал мясо к вожжам и дёргал: поднимай...

Брат Афанасий, учитель географии, рассказывал, что городище одно из девяти, относящихся к валу Чингисхана. Его остатки по сей день встречаются в Монголии, России, Маньчжурии... Когда-то соорудили земляной вал с запада на восток на сотни километров и по всей его протяжённости возвели ряд городищ, пограничных поселений, квадратной и круглой формы. Насыпали вал в тринадцатом веке или ещё раньше.

Афанасий рассказывал, а мне казалось странным: здесь, в пустынном Трёхречье, кипела перенасыщенная людьми жизнь. Разные народы – кидани, монголы, маньчжуры, чжурджени, тунгусы – бились за эти пространства... Сходились встречными ураганами конницы, лилась кровь воинов. Кто-то проделал гигантскую работу – нагнал тысячи землекопов, и те вручную соорудили через полматерика вал со рвом... То ли фортификационным сооружением, а может, так отметили границу империи. Монголы ли отгородились от северных народов или ещё раньше кидани... Тунгусы и монголы называли вал, как и Китайскую стену, керим. По сей день нет ответа: приложил великий завоеватель Чингисхан руку к строительству вала, оставшегося в истории под его именем, или никакого отношения к нему не имеет.

На покосе, отужинав со всеми, я любил забираться на вал городища (он был метра три высотой) и силился представить жизнь в далёкие века. Тысячи воинов-всадников сходились на битвы. И здесь, где уже много веков висит тишина, только кузнечики поют, да метели носятся зимой, стоял топот сшибающихся лошадей, звон сабель, кричали люди, ржали кони... Где всё это? Афанасий рассказывал: ушли в небытие целые народы, владевшие в Средние века этими территориями – кидани, чжурджени... Растворилась мощь маньчжуров, монголов, татар...

И ещё, стоя на валу городища, я смотрел за Аргунь, в Россию. За деревьями на другом берегу угадывался посёлок Старо-Цурухатуй. Башня торчала в лучах заходящего солнца. Мне казалось, будто даже крыши вижу... Там была Россия... Волнующая, загадочная, таинственная. Мы учились по её учебникам, пели её песни. Туда сбегал и где-то там (жив ли нет?) мой родной старший брат Ганя...

Совсем-совсем рядом была Россия... И страшно далеко...

В конце девятнадцатого века Фёдор Иванович Кокушин, мой дед по отцу, переправился через Аргунь, углубился на китайскую территорию и неподалёку от места, где позже быть станции под названием Драгоценка, в пади поставил заимку. И потом несколько раз в засушливые в Забайкалье годы зимовал в «своей» пади со скотом. Падь так и стала зваться Кокушинской. А речушка, что брала начало из неё, – Кокушихой. Она бежала по Драгоценке невдалеке от нашего дома.

Природа в Трёхречье походила на Забайкальскую: в южной части по Аргуни – полоса степи; выше по Дербулу, Хаулу и Гану – сопки, леса. Морозная зима, жаркое, в меру дождливое (но практически не засушливое) лето. Плодородная земля, чернозёмы, которых никогда не касался плуг, сенокосные луга с сочным травостоем. Хлебопашествуй крестьянин, разводи скот... Земли – вдоволь, строевого леса – сколько хочешь, власть номинальная и либеральная – до ближайшей станции Хайлар Китайской Восточной железной дороги более ста вёрст по бездорожью...

И застучали в двадцатых годах двадцатого века топоры в Трёхречье, бежавшие из России казаки стали возводить дома, церкви, школы, обозначая места своего обитания названиями: Драгоценка, Верх-Кули, Лапчагор, Покровка, Ширфовая, Щучье, Караганы, Верх-Урга, Усть-Кули, Лабдарин... В девятнадцати посёлках сыны Забайкальского казачьего войска начали жить по традициям отцов и дедов, ревностно храня веру отцов, обычаи предков. Действовало восемнадцать православных храмов (были и староверческие церкви), один монастырь... Работать казаки умели и вскоре зажили лучше, чем в России. Бедным считался казак, у которого меньше двадцати-тридцати голов крупного рогатого скота. Игались свадьбы, рождались дети, казачата превращались в казаков. В 1932 году Япония оккупировала Маньчжурию, японские солдаты на долгих тринадцать лет пришли в Трёхречье, благом это не было, но и при оккупантах жизнь продолжалась по русским православным и казачьим традициям.

В августе 1945 года Красная армия за несколько дней полностью освободила Маньчжурию... С этого самого времени Россия стала с особой силой примагничивать трёхреченскую молодёжь. Старшее поколение не могло не вспоминать дореволюционную жизнь в России. Не зря сказано: «Тянет туда, где брошена пуповина». Отцы и матери памятью обращались за Аргунь, в казачьи станицы, к родительским домам, к дорогим местам, к чему прикипела когда-то душа, и, только тронь её, встают перед глазами дорогие сердцу сопки, хрустальные речки, покосные луга... Это передавалось молодёжи, которая не видела Забайкалье, не знала те края, но глыба России мощной, непреодолимой силой влекла к себе. Дедам, отцам и матерям хватало воспоминаний, они не отказались от своей Родины, но смотрели на возможность возвращения в её пределы с большой долей сомнения. Однако своими воспоминаниями воспламеняли головы тех, кто родился в Маньчжурии, в Трёхречье в двадцатые годы... Вожденная Россия в каких-то пятидесяти-шестидесяти километрах...

Все мои старшие родные братья – Ганя, Афанасий, Митя – независимо друг от друга пускались в бега за Аргунь...

Прокопий

Первым в Советском Союзе из нашей родни по своей воле оказался двоюродный брат Прокопий, дяди Кеша, Иннокентия Фёдоровича Кокушина, сын. Прокопий был гордостью Кокушиных. В нашем роду мужчины, что братья отца, что мои родные и двоюродные, ростом не выше метра семидесяти. Один дядя Сеня, говорят, был высокий, и Прокопий метр восемьдесят, не ниже, лицом приметный. От матери, чистокровной полячки, много взял.

Истрия появления панночки в Кузнецово такова. Бравый казак-забайкалец привёз с германского фронта не шаль с кистями, не отрез панбархата, не сапоги из кожи европейской выделки или богатую бекешу – девицу привёз военным трофеем. В Европе подхватил красавицу – льняные волосы, зелёные глаза, кожа белая – и повёз за тысячи вёрст, защищая по дороге от посягательств казачков, вкусивших сладкой вольности под лозунгом «Война всё спишет». О чём думала панночка под перестук колёс на стыках Транссибирской магистрали, минуя бескрайние степи, дикую тайгу, умопомрачительной ширины реки, всё дальше и дальше уезжая от Царства Польского – одному Богу известно.

Доставил казак заграничную зазнобу в родной дом, а родители против привозной невестки, не захотели чужестранку, что так запросто с казаками поехала с одного края земли на другой. Заявили сыну решительный протест: какой бы ты ни был герой, крещёный войной, а не будет тебе родительского благословения. Казак и сам, похоже, охладел к полячке. Не пошёл напролом. Согласился с родителями: одно дело походная краля, другое – хозяйка в казачьем доме. Тогда как Иннокентию Фёдоровичу приглянулась иноземка. Отца, Фёдора Ивановича, уже не было в живых, мать уговорил с условием: католичка принимает православие. В 1918 году они венчались в кузнецовской церкви.

Заморская красота не помешала полячке оказачиться, родила дяде Кеше троих сыновей и столько же дочерей. Прокопий был третьим сыном. У меня хранится фотография – дядя Кеша с сыновьями: Николаем, Михаилом, Прокопием. Прокопию лет шестнадцать. Волнистые тёмные волосы, широкие плавной дугой брови, открытый умный взгляд. Внешне, как рассказывали, в юности не выглядел силачом-богатырём. Сухой, поджарый, однако запросто крестился двухпудовкой. Той же двухпудовкой проделывал цирковой трюк – брал гирию одной рукой, приставлял (не прижимая) «дном» к стене и держал, улыбаясь, на вытянутой руке сколько угодно.

Как-то на вечерке один храбрец, перебрал водки или противного китайского спирта, стал наскокивать на Прокопия. Претензия банальная – девчонка. Дескать, отвали, моя черешня, не забрасывай камешки не в свой огород, не лезь, паря, не в свои сани. Вышли соперники разбираться на крыльцо, задиру свежий воздух не отрезвил, не поубавил дури, пуще раздухарился, мол, я тебя, паря, сейчас больно учить буду, замахал кулаками, на что Прокопий поднёс ему один раз по сопатке, и тот мигом все претензии позабыл, рыбкой с крыльца мелькнул, как и не стоял, и затих безучастно на земле... Перепугал всю вечерку, думали, кончается... Водой бросились отливать...

Прокопий отлично пел. По мужской линии наших с ним отцов никто хорошим голосом не отличался. Ему Бог дал. Когда в 1957-м впервые из Норильска (там сидел в лагере, там и остался жить, освободившись) приехал к нам в гости, они с мамой моей как хорошо пели. Мама была певуньей! Прокопий с моим отцом за столом горячо заспорили на тему веры в Бога. Прокопий был крепко подпорчен атеизмом. Отца моего нельзя назвать человеком, который без Бога ни до порога, однако не помню, чтобы начал трапезничать, не перекрестившись, и не поблагодарил Бога, поднимаясь из-за стола. Не один раз слышал от него: «Казак без веры – не казак!» Отца всегда выводило из себя, когда казаки начинали проповедовать атеизм. Заводился с полуслова. И здесь напустился на Прокопия. Последний вовремя дал задний ход, решительно оборвал себя:

– Дядя Ефим, хорош-хорош, давай лучше споём! Я к вам ехал и мечтал о наших казацких песнях...

– Да какой я певец! – отец недовольно буркнул, он всё ещё кипел спором, рвался в бой.

– Давай, давай! – обрадовалась мама. Не по душе ей было, что родственники после стольких лет разлуки завели горячие мировоззренческие разборки. Пыталась сразу, как они зацепились, увести от скандального разговора, да отца разве остановишь, если разойдётся, могло и до кулаков дело дойти...

– Проня, какую споём? – спросила мама Прокопия.

– А давайте, тётушка, нашу казацкую!

И запели на два голоса:

Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржёт, кого-то ждёт.
В ограде бабка плачет с внуком,
Молодка горьки слёзы льёт.

А от дверей святого храма
Казак в доспехах боевых
Идёт к коню от церкви прямо
Среди друзей своих, родных.

Эту песню в Драгоценке часто пели. У Прокопия глубокий баритон. Лагеря, работа на жутком морозе не сгубили голоса. Свободно, мощно вёл мелодию. Отец слушал, наклонив голову, покачиваясь в такт песни. За столом сидел и мой старший брат Ганя, губы его шевелились – пел про себя. У мамы голос сильный, чистый, среднего диапазона. Прокопий пел, глядя куда-то в угол. Что уж он видел? Драгоценку, мать, девушку, что не стала его женой... Мама сидела прямо на стуле, лицо красивое, песенное. Не один раз она видела в забайкальском детстве и девичестве картину проводов казаков на службу, на войну...

Жена коня мужу подводит,
Племянник пику подаёт.
Отец ему сказал: «Послушай
моих речей ты наперёд:

Мы послужили государю,
Теперь черёд тебе служить.
Так обними-ка жёнку Варю,
Господь тебя благословит.

Дарю тебе коня лихого,
Он добровит был у меня.
Он твоего отца седого
Носил в огонь и из огня.

Тебе вот сабля боевая,
Подружка славы и побед,
Тебе вот пика роковая,
С ней бился я, с ней бился дед.

Служи, сынок, отдай Отчизне
Весь пыл души своей младой.
Чтоб наша Родина Россия
Была державною страной!»

Прокопий – крутой в плечах, годы ещё не проредили, не обесцветили его густые чёрные волосы – поднялся из-за стола, подошёл к маме, наклонился, обнял одной рукой за плечо, поцеловал в щёку:

– Спасибо, тётушка. Как хорошо с вами, родные мои.

...Тридцатого марта, в день святого Алексия человека Божия, покровителя Забайкальского казачьего войска, в Драгоценке всегда устраивался праздник. Весна в той поре, когда солнце большое, новое, небо наливается синевой, а к середине дня ощутимо припекает, поработаешь полдня на солнце и обязательно потемнеешь лицом, загар липучий, въедливый. Ночью мороз может по-зимнему придавить, но всё равно это уже не зима, день длинный, а ночи съёживаются... И весной пахнет на солнце...

Тридцатого марта с раннего утра в Драгоценку съезжались казаки со всего Трёхречья. Из Лабдарина, Барджакона, Нармакчи, Тулунтуя, Ключевой, Дубовой, Верх-Кулей...

Кто-то приезжал накануне, останавливался у родственников или знакомых... Но большинство наезжали ранним утром. Чуть рассвело – и начинается движение по посёлку. На санях, верхами наполняют Драгоценку казаки. Хруст ледка под копытами и полозьями, ржанье лошадей, радостные возгласы, объятия родственников, кумовей, боевых товарищей...

Праздник начинался с литургии в храме, потом молебен... Площадь перед церковью заполнял нарядный люд, женщины в ярких платках, мужчины в казачьем, жёлтые лампасы, на головах папахи с жёлтым верхом... Выходит батюшка, площадь замирает. Народу не одна тысяча. Обязательно казачата в большом количестве, тоже в папахах. Священник начинает молебен, небольшой, слаженный хор помогает... Потом парад. Из Харбина обязательно какой-нибудь высокий чин приезжал, принимал парад. Казачата в пешем строю печатали шаг под барабанный бой. Затем шли сотни на конях-красавцах, с развернутыми знаменами. Бравые молодые казаки-трёхреченцы, их отцы, убелённые сединами. Многие понюхали порошу на Первой мировой, на Гражданской. Одни у белых, другие у красных, нередко и там и там рубились.

Как такового официального казачьего войска в Трёхречье не было, тем не менее военно-патриотическая работа велась – молодые парни призывного возраста по приказу станичного атамана собирались на сборы. Отставной есаул или как минимум хорунжий обучал молодёжь кавалеристскому искусству, проводил отработку приёмов джигитовки. Это искусство молодые казаки в полном объёме демонстрировали обычно летом, на Петра и Павла, когда казаки тоже собирались в Драгоценке со всего Трёхречья. Когда-то это был престольный праздник Драгоценки. Дело в том, что первый храм в станице построили в честь апостолов Петра и Павла. Однако он со временем стал маленьким для Драгоценки, его разобрали и перевезли в трёхреченский посёлок Барджакон, а в центре Драгоценки поставили новый в честь Сретенья Господня. Однако по-прежнему на Петра и Павла Драгоценка собирала казаков со всей округи. Проводился казачий смотр, обязательно молодые казаки показывали станичникам своё мастерство.

В детскую память врезалось: Прокопий несётся верхом на лошади и вдруг на полном скаку проводит сложный приём джигитовки – оборот на триста шестьдесят градусов. Конь летит во всю мочь, наездник падает вбок, уходит под круп, на долю мгновенья голова оказывается рядом с землёй, затем ловко выныривает с другой стороны и снова в седле.

Я сыновей-школьников часто водил в омский цирк. А уж если выступала конная группа, сам, не хуже пацана, в нетерпении ждал: сейчас вынесутся на арену красавцы-кони, запахнет конюшней, артисты-конники явят собой торжество воли, ума, лихости... Тигры, львы –

это дрессировка, постоянное хождение на грани (зверь есть зверь, сколько волка не корми – может напасть), совсем другое взаимопонимание лошади и человека... Тут сердечная привязанность... Однажды спросил Прокопия (это уже после всех его лагерей) вспоминали Драгоценку, жизнь в Трёхречье, я возьми и спроси:

– Не один раз слышал о твоих успехах в джигитовке, что-то даже сам, пусть смутно, да помню, а вот в цирке смог бы выступить?

– В цирке, брат, проще, арена, опилки, скачки по кругу. Там центробежная сила помогает. Когда ты летишь по земле, посложнее будет.

И наездником на бегах Прокопий, это мне отец и старшие братья рассказывали, был отменным. В Алексеев день, всегда устраивались бега, они могли быть и в другие праздники, на Алексея обязательно. Мужики загодя попарно сговаривались посоревноваться бегунцами (беговыми лошадьми) – у кого лучше. Заключали пари, на кон ставили, скажем, тридцать баранов, или два-три быка, или пару лошадей. До японцев деньги не ценились, при японцах зачастую на деньги спор шёл. Заключали пари во всех посёлках Трёхречья, бега проводились только в Драгоценке на вымеренной, много раз испытанной соревновательной трассе. Пролегала она на краю посёлка. Сопка, у её подножия речка Барджакон (приток Дербула), а параллельно ей трасса. Отец в табуне одного, а то и двух бегунцов обязательно держал. Рабочие лошади – это само собой, бегунцы – для души. Трасса пролегала по прямой, и соревновались только верхами, в роли наездников – подростки. Редко когда парень, только если он лёгкого веса. Мой родной дядя по маминой линии Иван Петрович Патрин роста небольшого, щуплый, тот и в восемнадцать лет наездником участвовал в бегах.

Трёхречье славилось лошадьми. Японцы, оккупировав Маньчжурию в 1932-м, завезли из внутреннего Китая, а может, из Японии отличную породу. Они планировали властвовать в этой части Китая вечно, посему воспроизводили лошадей для своей конницы в местных условиях. И поощряли казаков разводить их для пополнения своих конюшен. Покупали трёхлеток – в этом возрасте отлично видно, на что годен тот или иной конь. Одной из статей дохода для трёхреченцев стала поставка лошадей для кавалерии Квантунской армии. А японской породой казаки оздоровили генофонд своих лошадей, что пригнали из Забайкалья.

Бегунцов казаки держали исключительно для развлечения. Такие лошади не знали хомута, не работали в поле. Хорошо помню трёх отцовских, один с рыжей гривой, сам рыжий, так и звали Рыжка... Высокий, стройный, а ноги, казалось, неправдоподобно лёгкие... Другого бегунца почему-то звали Урёшка. Откуда взялось такое имя? Вороной, на лбу белым ромбом отметина. Он будто понимал свою исключительность – голову носил гордо, выделялся в табуне... Был ещё Карька... Последние бега устраивались в Драгоценке в пятьдесят втором году. А потом китайцы стали нас притеснять, повели политику – русских надо выдавливать.

В истории Трёхречья несколько раз устраивались бега от Драгоценки до Хайлара, это более ста вёрст. С большим призом. Для такого забега надо было иметь не просто бегунца, а выдающуюся лошадь. У дяди Кеша, отца Прокопия, был жеребец Сендай. Карей масти. Красавец. Дядя Кеша, человек азартный, заводной, с казаком Пановым, его дом стоял по соседству с нашим, сговорились устроить забег Драгоценка – Хайлар. На Сендая дядя Кеша посадил Прокопия, Панов – своего сына Ивана. Сто вёрст да ещё с гаком – дистанция длинная, её разбивали на этапы и после каждого давали бегунцам передышку. Прокопий шёл впереди на последнем отрезке и должен был выиграть. По злой иронии на маршруте имелась петля, утверждённая условиями забега, Прокопий честно поскакал, соперник срезал и на финише оказался первым. Как ни оспаривал дядя Кеша, победителем признали лошадь Панова.

При скачках на версту, если возникали спорные ситуации – лошади приходили ухом в ухо, или ещё какая-то неувязка – устраивались повторные забеги для однозначного выявления победителей, на сверхдлинную дистанцию перезабег не сделаешь. Приз получил Панов. Но всадников обоих отметили. Прокопию достался серебряный портсигар. Почему-то он оказался

в нашей семье при отъезде в Советский Союз, у моего родного брата Афанасия. Жив брат, дай Бог ему здоровья, в Казахстане, в Мичурино живёт. Как только в пятьдесят пятом мы нашли Ганю, и тот сообщил в письме: «Я в лагере вместе с Прокопием, сыном дяди Кеши», – отец, отвечая, написал, что портсигар Прокопия у нас.

Кстати сказать, Сендая дядя Кеша продал за очень хорошие деньги в конюшни Харбина, в русской столице Маньчжурии бега вызывали у публики большой интерес и были поставлены на коммерческую основу.

Оккупировав Муньчжурию, японцы создали марионеточное государство Маньчжоу-Го, или Маньчжудуго, ввели свои войска, свои порядки, в Драгоценке стоял их гарнизон, была также жандармерия. Молодых казаков-трёхреченцев японцы стали призывать в специальный отряд Асано. Под Харбином на станции Сунгари Вторая создали школу подготовки, руководили ею кадровые казаки белого атамана Семёнова и белого генерала Унгерна... Японцы разработали программу по использованию местных русских в возможной войне с Советским Союзом. Император Ниппон в своих сладких мечтах завоевателя планировал собрать территории (и народы) вплоть до Урала по принципу «Хакко ичи-у» – все под одной крышей. Крышуют, естественно, японцы. Русских японцы считали пятой народностью империи Маньчжудуго. И, конечно, она должна сражаться за японскую «крышу» на стороне великой, непобедимой нации ямато.

Мобилизовали в отряд Асано не только трёхреченцев, со всей КВЖД собирали молодых русских парней. Упор делался на кавалерийскую выучку. Прокопий попал в школу разведчиков-диверсантов. Относилась она к Асано или нет, не знаю. Может, Прокопий и говорил при жизни, да я запамятовал. В школе разведчиков обучали парней для последующей переброски через границу с целью шпионской и диверсионной работы на территории Советского Союза. Летом 1945-го япошки почувствовали запах жареного – вот-вот война начнётся. В конце июня Прокопий и ещё двое русских ребят в сопровождении японца тёмной ночью переплыли на плоту Аргунь, она в том месте шириной, как Иртыш в районе Омска. Потаёнными тропами углубились на территорию СССР. Цель заброски – собрать сведения: готовится или нет Красная армия к войсковой операции на этом участке границы, есть ли концентрация техники и людской силы, по возможности захватить языка.

Парни заранее договорились сдаться. Сначала хотели японца прикончить, но потом побоялись: если японцы прознают, чикаться с родными перебежчиков не станут, расправятся со свойственной им жестокостью и кровожадностью. По плану операции разведчики должны были несколько дней скрытно собирать информацию в приграничном районе. Почему парней сразу одних не забросили? Скорее всего, не совсем доверяли, задача сопровождающего – контроль перехода группой границы. Японец до следующей ночи оставался с ними, с наступлением темноты вернулся к Аргуни, Прокопий сопровождал его до реки. Утром парни вышли к пограничникам, представились, кто они, с какой целью заброшены. Их сразу в особый отдел... Кто такие? Добровольцы. Хорошо. В Асано служили? Очень хорошо. Фамилия? Кокушин. Хорошо. Семён Фёдорович Кокушин твой дядя? Очень хорошо...

И получили патриоты в конечном итоге каждый по пятнадцать лет.

Агентура НКВД раскинула сети по всей Маньчжурии, в том числе в самом сердце отряда Асано. В его штабе в чине майора служил Гурген Наголян, имевший доступ ко всем секретным документам. С 1944 года командиром отряда назначается Яков Смирнов, тоже, как выяснилось впоследствии, завербованный НКВД. Наголян по приходу в Харбин в августе 1945-го Красной армии красовался на улицах столицы Маньчжурии в советской форме с новенькими золотистыми офицерскими погонами. Конечно же, в чёрных списках чекистов Прокопий со своими товарищами фигурировал на сто процентов ещё до добровольной сдачи пограничникам.

Отряд Асано организовал полковник Квантунской армии Такэси Асано. Японец оказался благороднее Наголяна и Смирнова. Японцы, убегая из Маньчжурии от советских войск, в тупой

мстительности кого-то из асановцев уничтожили. Остальных по приходу Красной армии арестовал СМЕРШ, в соответствии с имеющимся списком. Такэси Асано, узнав о предательстве белых офицеров, расстрелах и арестанткой судьбе своих бывших подчинённых, сумел добиться посещения Сунгари Второй, где в прошлом дислоцировался его отряд, и на плацу совершил ритуальное самоубийство самурая, сделал себе харакири, оставив записку: «Смертью своей свою вину перед вами искупаю».

Ганя

В конце 1947-го мой родной брат Ганя, Гавриила Ефимович, двадцать шестого года рождения, с двумя друзьями перешёл зимой границу и сдался советским пограничникам.

Манящий дух новой России принесла в Трёхречье Красная армия в августе сорок пятого. Мало кто из «русских китайцев» желал Советскому Союзу поражения в войне с Германией. Русские должны победить немцев! В это верили, на это надеялись. И вот победители Германии, победители Японии (надо было видеть, как драпали япошки из Трёхречья!) вошли в Драгоценку. Форма с погонами, как в царской армии, молодые, бравые и красивые, уверенные в себе воины. Мощная техника, современное оружие.

Не безоблачным было пребывание красноармейцев в Трёхречье и всей Маньчжурии. Для многих русских оно обернулось бедой. В Советский Союз под конвоем увезли каждого четвёртого мужчину, но этот факт почему-то не останавливал молодёжь...

Ганя был добрым казаком. Подростком отец доверял ему в скачках своих бегунцов, и Ганя не один раз приходил первым. Прав Прокопий, джигитовка в цирке не то. Круг арены, опилки, ограниченные скорости. А вот когда это демонстрируется на полном скаку на воле. У меня и в цирке-то сердце переходило на галоп, а уж в детстве на смотре... Две лошади скачут рядом, на плечах у наездников в полный рост третий казак, правой ногой стоит у одного на плече, левой – у другого. Акробатической этажеркой скачут парни под одобрительные возгласы публики. Японцы, как отец рассказывал, очень любили смотреть джигитовку. Чуть не всем гарнизоном приходили. Лошадь скачет, а казак сделал на седле стойку на голове. Это не в пол головы упереться и держать равновесие – ты на всём скаку...

У меня в детской памяти отпечатался на всю жизнь праздник Петра и Павла. Середина лета... Небо бездонной синевы. В Драгоценке с утра коловращение, со всех деревень понаехали казаки. Служба в храме, потом казачий смотр. Ни один не обходился без рубки лозы. Чем-чем, а этим должен владеть каждый казак. Летит он, подавшись в седле вперёд, летит туда, где подрагивает на ветру прутик лозы, сталь клинка горит на солнце... А ты заморожено следишь, особенно, если в седле твой старший брат, следишь, как быстро сокращается расстояние между казаком и целью. И вот замах, просверк шашки, издали покажется, что лоза продолжает стоять, нет – падает. При этом не должна на кожице коры повиснуть – плохой удар. Позор, если казак вместо лозы рубанул коня по уху или круп поранил...

Всегда на ура проходили соревнования по демонстрации казаками искусства приёма – когда, пустив коня в галоп, наездник на бешеной скорости ловко хватает с земли предмет. Поднимает не абы что, не безделицу, посмотрел и выбросил, вовсе нет, в том и заключается интерес – не одну лишь удаль показывает казак, в руках у него оказывается существенный приз. Здесь целый спектакль разыгрывается. Из группы зрителей выходит богатый и авторитетный казак, он предварительно завяжет в белый носовой платок, чтобы хорошо было видно его на земле, приличную сумму денег... Мелкой купюрой не отделаешься, вся станица будет вскоре судачить, сколько отвалил такой-то победителю – пожадничал или расщедрился на полную. Бывалый казак важно бросит на землю приз, посмотрит на молодых казаков, мотнёт призывно головой, дескать, а ну-ка, удалыцы-молодцы, покажите-ка, на что вы годны, есть среди вас настоящие казаки, а если имеются такие, кто на сегодня самый ловкий да смелый...

Поодаль группа молодых казаков верхами, стоят в нетерпении, и себя сдерживают и коней, тем тоже передаётся возбуждение наездников. Каждый казак не прочь завладеть заветным призом. Зрители повернули к ним головы, ждут: какой удалец первым попытает счастья? Вся станица – матери, отцы, девушки-казачки – стоят в ожидании... И вот один отделился, прищпорил коня, полетел к белому пятну... Приближаясь к нему, будто пулей сбитый, падает

к земле... И раз – платок в кулаке... Зрители возбуждённо кричат, приветствуя удачливого казака: «Любо!» А он победно возносит руку с призом над головой...

Не такая уж исключительная редкость – платок с деньгами оставался на прежнем месте. Казак или коня чересчур разгорячит, или начнёт падать не вовремя... Подведёт глазомер... Промахнётся, загребёт рукой воздух, проскочит мимо... Прощай денежки, второй попытки не даётся. Вот уже кто-то другой летит к заветному пятну на земле... Лишь одним способом разрешалось исправить оплошку. Его я видел своими глазами в исполнении Гани. Он, казалось бы, всё правильно рассчитал, я чуть не закричал «ура», да рука брата прошла рядом с платком, каких-то сантиметров не хватило. Трибуны разочарованно зашумели. Только Ганя вдруг резко осадил бегунца, и тот упал на бок... Приём сложный. Конь и казак должны отменно понимать друг друга. В бою так можно поднять с земли и положить на лошадь тяжело раненного товарища... Или начать вести огонь из винтовки, используя верного коня в качестве защиты. По команде конь падает на бок, наездник вовремя освобождает ногу из стремени, крупом бы не подмяло... Брат так и сделал. Урёшка, он был под Ганей, упал, Ганя ловко соскочил на землю, вернулся к призу, победителем взял платок и под одобрительный гул односельчан вернулся к коню, вскочил в седло...

Ух, радовался я, ух, кричал до хрипоты: «Любо!» Как же – Ганя, брат Ганя приз взял! Всех ловчее оказался!

После смотра и бегов начиналось отмечание праздника. Кто постарше шли по домам. Многие начинали праздновать тут же. Предприимчивые китайцы-торговцы стояли наготове с выпивкой, закуской. Налетай-покупай.

Был такой ритуал. Молодые казаки быстро сооружали застолье. Для чего выкапывалась в форме подковы (обязательно подковы – праздник казачий) узкая траншея, глубиной, может сантиметров шестьдесят. Садись на землю лицом внутрь «подковы», ноги в траншею ставишь, а матушка-земля перед тобой – это стол, который тут же заполнялся нехитрыми яствами. Победители скачек «проставлялись», говоря по-современному, угощали побеждённых, друзей, родственников.

Праздник не заканчивался после завершения застолья в «подкове», одни компании направлялись к китайцам в харчевни, другие – по гостям. Молодые казаки, разгорячившись водочкой, могли продолжить демонстрацию мастерства в джигитовке, но в неофициальном формате: не на месте казачьего смотра, а в условиях, максимально приближённых к естественным.

Китайская улица в Драгоценке была единственной в своём роде. Представляла собой не что иное, как торговые ряды – вся улица в лавчонках. На добрые полкилометра тянулись по обе стороны бакалейки, забегаловки, харчевни, парикмахерские, пошивочные мастерские. Продавали мануфактуру, керосин, чай, сахар, всякую мелочёвку, при желании можно было заскочить и выпить стаканчик наскоро и в охотку пельменей китайских поесть, а хочешь, так не торопясь посиди с товарищами за бутылочкой, поговори всласть, не обременяя шумной компанией жену и домашних...

У китайца-торговца перед лавочкой обязательно в качестве рекламы фонарь красочный. Не надувной, само собой, резиновых не было. Проволочный каркас диаметром с полметра обтягивался бумагой или материей и вывешивался на бечёвке рядом с входом в лавочку, метрах в двух от земли. Этот фонарь и привлекал молодых казачков, у которых шашки чесались до боевого дела. Бывало, подопят, вскочат на коней, клинки наголо... Один по правой стороне улицы полетел, другой – по левой... И ну срубать шары один за другим.

Торговцы один ругается, другой смеётся, третий восхищается ловкостью удалцов. Не велика беда шар на место водрузить, а завтра эти же казаки придут к тебе... Нередко брали выпивку под запись. Рассчитывались не с полочки, таковой, знамо дело, не было. Парни тайком

от родителей наделают долгов, а потом везёт должник с мельницы муку, один-другой мешок припрячет, дабы китайцу-лавочнику кредит погасить.

Бегунцы у отца всегда были загляденье, но и наездник свою роль играл. Отец доверял Гане, и тот не подводил. А и пошалить Ганя любил, к примеру, в тот праздник, когда платок с деньгами взял, пронёсся по Китайской улице, срубая шары...

В декабре 1947-го Аргунь встала, а ближе к Новому году Ганя с Алёшкой Музурантовым и Никитой Соколовым по льду перешёл на советскую сторону. Перед этим случилась у парней драка с китайцами, и одного китайца убили. Ганя участвовал в драке. И хоть не он смертельно приложился кулаком, решил – надо уходить, китайцы сильно разбираться не будут «прав или виноват», а какая бы ни была тюрьма в Союзе, она, посчитал Ганя, предпочтительнее, чем китайская для русского. Все знали, в китайскую лучше не попадать – можно выйти инвалидом. Ганя сказал родителям о своём твёрдом решении и ушёл. Он и раньше собирался тайком от родителей рвануть за Аргунь, тут уже сам Бог велел...

Пограничники гостей сразу передали чекистам. Следователь на первом допросе спрашивает Ганю:

– Семён Фёдорович Кокушин кто тебе?

– Дядя.

– Всё правильно, – посмотрел в свои бумаги следователь.

За дядю, поднявшего восстание в Кузнецово в 1931-м, получил Ганя десять лет по 58-й статье. За фамилию, больше не за что, ему всего-то шёл двадцать первый год. У белых не служил, в Асано не призывался. А к «десятке» политической приплюсовали ещё три года за незаконный переход границы.

Ещё до следствия гнали Ганю этапом, человек пятнадцать их шло, в Читу. В селе Шелопугино объявил конвой привал. Зашли парни вчетвером в избу, хотели обменять какие-то свои вещи на еду. Обычная бревенчатая изба, надвое разделённая перегородкой. Русская печь рядом с входом, в красном углу икона, лавки по стенам. В доме одна хозяйка. Радушно арестантов приняла, пригласила пройти, погреться. Достала из русской печи чугунок картошки... Ганя в горницу заглянул, а на тумбочке гармошка. Потёртая трёхрядка. Ганя сам немножко баловался. Не из записных деревенских гармонистов, но кое-что умел...

Отец у нас тоже немного играл. Перед глазами картина. Я стою вечером в ограде. Это, скорее всего, было в пасхальную седмицу. В тот год весна ранняя пришла. Синие сумерки. И смотрю, отец на лошади верхом, а в руках гармошка. Ворота из жердей – высота, может, метр тридцать, метр сорок – я не успел подскочить и открыть, а отец в сумерках не заметил, что они закрыты, и скачет чуть не галопом на препятствие... Но конь казацкий (кажется, Рыжка был) одним махом перелетел барьер. Я только ойкнул...

Ганя увидел в избе гармошку, у хозяйки спрашивает:

– Тётенька, кто играет?

Средних лет женщина рукой махнула:

– Да тут ссыльный дед...

И называет:

– Иван Фёдорович Кокушин.

Ганю обожгло: это ведь дядя! Родной дядя! Всё совпадает – фамилия, имя, отчество. По рассказам отца знал, что дядя Ваня неплохой гармонист. Никогда его Ганя не видел.

– Где он? – спрашивает хозяйку.

– Дрова заготавливает, скоро придёт.

Ганя мне рассказывал:

– Твержу одно: Боже, дай повидаться с дядей! Дай увидеть его! Молюсь, ведь в любой момент конвоир может скомандовать: «На выход!» И погнать дальше.

Друзьям Ганя сказал, что гармошка, похоже, его родного дядюшки, с которым никогда не виделась. Дядя Ваня заходит, удивился – незнакомый люд в избе. Ребята вчетвером на лавке сидят. Один говорит:

– Ну-ка, дядя, погляди-ка! Среди нас родственник твой! Угадаешь кровь родную?

Ивану Фёдоровичу шёл тогда шестьдесят шестой год. Седой уже, но крепкий. С одного взгляда по обличью узнал племянника, указал на Ганю:

– Этот из Кокушиных!

Дядю Ваню раскулачили и отправили с женой на спецпоселение. Дочерей, Таю и Шуру, он ухитрился оставить в Кузнецово. Жена умерла, дядя перебрался в Шелопугино. Сын его Артём с вооружённым отрядом родного дяди – Семёна Фёдоровича Кокушина, одного из командиров восстания против коллективизации – ушёл в Драгоценку.

Ганя с дядей Ваней обнялись. В доме, конечно, разговора не могло получиться. Выбрали какую-то минутку, вышли на крыльцо, Ганя рассказал, что Артём арестован, дядя Сеня арестован, в сорок пятом обоих в Союз увезли. Не знал Ганя, да и откуда мог знать, что дяди Сени уже нет в живых. Сказал, что бабушка в тридцать третьем умерла, поведал вкратце о нашем отце, о дяде Кеше, дяде Феде, остальных родственниках, что жили в Трёхречье.

– Дядя Ваня зубами закрипел, заплакал, – рассказывал Ганя. – Слёзы потекли по щекам. И говорит с болью: «Зачем ты, племянник, сюда пошёл? Зачем?» Смахнул слезу: «А Тёма! Я-то думал, хоть у него в Драгоценке всё хорошо...»

Тоже случай, Божий промысел. А случайно ничего не бывает... Никто из наших больше дядю Ваню не видел. Мой отец начал искать его, когда мы в пятьдесят четвёртом приехали в Союз, но не успел найти живым, получил известие, что в 1955-м Иван Фёдорович Кокушин умер. В Шелопугино похоронен. Про Артёма на наш запрос сообщили, что умер в лагере в Воркуте. Дочерей дяди Вани отец разыскал. Тая жила в Лесосибирске, скончалась в доме престарелых. Детей у неё не было. Мой брат Митя ездил в конце семидесятых к ней. Шуру, Александру Ивановну, занесло на Дальний Восток. Тоже детей не было. Раза два присылала нам посылки с красной рыбой. Умерла уже... Царствие им Небесное...

Все братья моего отца, даже те, кого никогда не видел, сохранились в памяти потому, что отец о них рассказывал. Он разыскал всех, кого смог найти. Никто, ни дядя Кеша, ни дядя Федя, приехав в Союз, не пошевелили, как говорил мой отец, рогом в поисках родных, только отец. Он стремился знать всех родственников, весь свой корень. Чувство родства было у него редкостное. Задался целью ещё в Драгоценке, когда собирались на целину, говорил нам:

– У меня в России много родственников, надо всех найти.

Взял на себя эту объединяющую миссию. И рассказывал обо всех мне, как бы передавая информацию:

– Это наша фамилия, наша кровь. Не обязательно тесно родниться с каждым, тут уж как Бог даст. Но я должен всегда знать, как мне молиться за того или другого: о здравии или уже о упокоении.

Материализм Прокопия

В 1954 году, двадцать шестого июля, мы железной дорогой приехали из Маньчжурии на станцию Чебула, это Новосибирская область, выгрузились, а дальше повезли нас в кузове грузовика в Чебулинский свиновхоз на птицеферму. Жильё – два длинных барака. Чуть раньше туда доставили переселенцев из Маньчжурии по фамилии Мунгаловы и Парыгины. У нас две семьи. Брат Афанасий женился в 1951-м, у него росли две дочери. Выделили семье Афанасия комнату в бараке и нам через стенку на восемь человек чуть побольше площадью – квадратов двадцать. Условия ещё те... Крысы бегали...

Школа за семь километров. Ходили осенью и весной пешком, зимой управляющий лошадь выделял.

Отец, чуть обжились (приехали – ни картошки у нас, ни моркошки, ни лука на зиму, а семья-то дай-то Бог каждому), стал активно искать сына Гавриила и братьев: Ивана, Василия, Семёна. Про дядю Сеню, бывало, скажет маме:

– Семёна живым, навряд-ли, оставили.

Мама перебьёт:

– Не каркал бы ты, отец.

Прав оказался. Кто-то подсказал адрес, куда писать в Москву. Отец определил меня в писари. Ганю разыскали быстро, весной 1955-го. В августе пятьдесят шестого он освобождён. При Хрущёве срок скостили. А так бы ему ещё семь лет сидеть.

На всю жизнь врезалась в память наша встреча. В тот день я был на совхозном покосе – метали сено. Волокушами подвозили копны, я вилами подавал на стог, в той местности стога называют зародами. К вечеру от такой работы ни рук, ни ног, одно желание – упасть и не вставать. Привезли нас на птицеферму, захожу в свой барак, и Бог ты мой! Неописуемой радостью обдало. Забыл про усталость, про всё на свете! Счастье-то какое – Ганя, брат Ганя за столом.

У меня все эти годы хранилась Ганина кожаная сумка. Ремень через плечо, клапан, застёжка какая-то – харчи возить. Берёг, не знаю как – брата вещь, память о нём. С детским оптимизмом верил, даже когда ничего не знали о нём, твёрдо верил: Ганя жив! Обязательно жив! Не может быть иначе. У мамы вырвется иногда: «Как там наш Ганя?» Раз застал её, стоит на коленях перед иконой, лицо мокрое от слёз. Резануло по сердцу: за Ганю молится.

Увидел его в бараке, застыл в дверях, Ганя вскочил навстречу, обнялись. Ему тридцать, мне шестнадцать. В памяти у меня он молодой, ещё не брился, тут мужик. Мама говорит:

– Павлик, сбегай, огурцов нарви.

Ганя следом встал:

– Вместе ходим.

Огородик был от барака метров за сто пятьдесят. Места сами по себе красивые, речушка Кривой Ояш, метра два-три шириной, с заросшими ивняком берегами, вода холодная. Выше по течению стояла старинная деревня Кривояш, туда в школу ходил. Вблизи речушки наш огородик. Подошли к грядке, Ганя заплакал. Грядки были не на земле, на подъёме – парник. Так лучше растёт, созревает быстрее. Я на даче выращиваю на земле. У соседки парник (корову держит – с навозом проблем нет), недели на две раньше, чем у нас, поспевают огурцы. У парника Ганя заплакал, да горько так – слёзы побежали-побежали. И не сдерживается... Столько лет не видел огуречных грядок...

Я в восемьдесят восьмом году купил под Любино старый домик, завёз материал и через два года взялся строить. Ганю позвал на помощь. Беру летом отпуск, Ганя из Казахстана приезжает, он жил в селе Троебратное, и мы и с ним весь мой отпуск вдвоём строим. За три лета поставили стены, оштукатурили внутри. В лагере Ганя прошёл зековские строительные университеты. Говорил:

– Я специалист безразмерного профиля.

И сварщик, и плотник, и кладку кирпича мог гнать, штукатур, отделочник отличный... А был ещё скорняк и портной...

В 1948-м его на барже по Енисею доставили в Норильск. В лагере в первый день столкнулся с земляками из Трёхречья, которых в сорок пятом СМЕРШ забрал, они сообщили радостную новость: тут Прокопий Кокушин. Ганя разыскал двоюродного брата, тот упрямил начальство перевести Ганю в свою бригаду, и почти восемь лет на соседних нарах спали, последней крошкой делились... Зеки восхищались братской дружбой...

Славно мы с Ганей поработали на строительстве дачи, ну и поговорили власть. С Ганей интересно, много читал, думал. Днём работаем, а вечерами сядем, выпьем немного... И каждую неделю устраивали выходной день, тогда уже без ограничения часов до пяти утра разговоры разговаривали... Он не один раз повторял:

– Вот, Павлик, я всегда верил в Бога, и плохо было, и хорошо – верил. В лагере случалось, до того тяжело, думаешь: да за что наказан на такую муку? За какие грехи каторга? В пятьдесят градусов мороза тебя гонят! Ветер, темень... Если ещё нездоровится... Упасть бы, казалось, и всё. За что? Но никогда Бога не похулил. Терпел. На всё Его воля. Прокопий, бывало, горячится: «Какой Бог? Нет никого. За что ты здесь мучаешься? За что я страдаю? Справедливо?! У нас к скотине во сто раз лучше относятся! Я шёл в Россию из любви к ней, с верой в Родину, которой буду служить, которой нужен... А меня мордой в парашу! Что это за Бог такой? Нету никого, нет!»

Есть у меня знакомый из новообращённых православных. В нём что-то от начётника. Ему требуется всё по формуле разложить. Как-то пристал:

– Вы говорите, в Драгоценке подавляющее большинство верили в Бога. Это что – обязательно молились утром и вечером? Постились? Исповедовались? Причащались? Каждое воскресенье в храм?

Были и такие, но в общей массе, пожалуй, нет. На большие церковные праздники не работал никто. Это обязательно. На Пасху всей семьёй шли на ночную службу. Храм в Драгоценке, Сретенский Казачий собор, был не маленький, но на Пасху всё село не вмещалось. Народу набивалось, стоишь, и нет возможности толком перекреститься. Бывает, вообще никак, руку нельзя поднять. Яички, куличи освящали у стен церкви после крестного хода. Морозно, темно, только от снега и звёздного неба свет. Тут уже и смех, радостные возгласы, христосование... Батюшка идёт, кропит куличи, радостно глаголет: «Христос воскрес!» И такое счастье вторить ему: «Воистину воскрес!»

Домой вернёмся под утро, отец молитву прочитает, похристосуемся, яичками обменяемся и садимся разговляться. Пост строго не соблюдался в нашей семье. Мама постилась, остальные – нет. Но на Страстную неделю не готовилось мясное и молочное. Никто не ел скоромное. Не скажу, чтобы дома молились. За стол сядем, отец перекрестится, мама тоже перекрестится и про себя, видно было по лицу, помолится. Поедим, отец встанет, перекрестится, поблагодарит Бога за хлеб-соль. Это обязательно, всегда и везде – в поле, на покосе... Я пошёл в школу в сорок седьмом, уже не было Закона Божьего, а до сорок пятого года – обязательный предмет. Дома у нас висела икона Георгия Победоносца. С приходом советских взрослые боялись: церковные праздники отменяют, церкви закроют. Нет, официальных запретов не последовало.

Ганя остался верующим на всю жизнь. Ни лагеря, ни советская власть не поколебали его убеждений. Любил он Прокопия и сокрушался:

– Больно было, когда с ним спорили в лагере. Говорил ему: «Проня, моли Бога, чтобы выбраться отсюда, какой ещё материализм!! А он упрямый... Бьёт себя в грудь: «Я – материалист!» А Боженька всё видит. И вот у меня три сына, внуки, а Прокопий лежит в вечной мерз-

лоте, и дети бесславно ушли. Ни одного внука. Как хочешь, так и понимай. О мёртвых грех говорить с осуждением, да факт остаётся фактом. Есть, Павлик, суд Божий, даже и здесь...

Я уже вспоминал, как Прокопий первый раз к нам после лагеря приезжал в 1957-м. В другой его приезд хорошо запомнился момент. Тогда за столом сидели он, сестра его Мария Иннокентьевна, брат Николай Иннокентьевич, Ганя, отец мой с мамой. Прокопий отцу с вызовом бросил:

– Дядя Ефим, я в Бога не верю! Я – материалист по убеждениям!

Резануло меня по ушам. По сей день слышу его голос, горячий, в гордыне непримиримый.

Как объяснял Ганя, Прокопий по молодости прочитал какие-то заразные на атеизм книжки, да и червоточина в мировоззрении его отца, дяди Кеши, не могла не сказаться, что-то передалось сыну.

Дядя Кеша, Царствие ему Небесное, на фронт в Первую мировую не попал, хотя был призван ещё в 1912 году (рождён в 1891-м), и всю войну простоял на границе с Монголией. Несколько месяцев служил в одном полку с атаманом Семёновым. Когда началась революция, затем Гражданская война, оказался в Канске, служил в милиции, мужик был грамотный, читал книжки, горячо ратовавшие за коммунизм, атеизм и всеобщее безбожное равенство. Даже Маркса читал дядя Кеша. Да ещё тесное общение с казачками-фронтовиками сыграло свою роль. Распропагандированные большевиками, они дезертировали с передовой и принесли в Сибирь, в Забайкалье соблазнительные идеи: земля нам! власть нам! Бога нет! воля отныне и навеки простому люду! А раз Бога нет – гуляй, рванина, бояться некого... Уравниловка многим отравой запала в голову...

Мой отец, он в 1990-м скончался, тридцать шесть лет, что жил в Союзе, терзался, задавая себе и окружающим вопрос: почему так случилось? И не находил ответа. Ему казалось – дикий абсурд, как было не понять дьявольскую уловку коммунистов-большаков столкнуть русских лбами? На гулянках, бывало, хватал за грудки станичника Банщикова Степана Павловича. Тот участник Первой мировой, урядник (два Георгиевских креста), пошёл за красных, а в результате оказался в Драгоценке. Отец тряс его, вопрошая:

– Ты, казак, георгиевский кавалер, урядник, почему добровольно, не под ружьём, не из страха смерти поддержал красных? Ты что, голодал? Тебя палкой работать заставляли? У тебя земли не было?

Степан Павлович был широк в плечах, на полголовы выше отца. Он виновато улыбался, как нашкодивший школьник, жал плечами. Не было у него ответа.

В Драгоценке как-то отец с друзьями загулял. Натуру имел широкую. Мог привести домой до десяти мужиков. Где-нибудь начнут, а потом зовёт:

– Айдайте ко мне.

Заходит, водку на стол, матери:

– Васса Петровна, люби и жалуй моих гостей!

Мама без радости принимала такие компании, но и не выгоняла. До песен мужики сидели. Когда в красной избе, когда и в зимовье... Это случилось году в 1952-м, сразу после Троицы, вот так же пришла компания человек шесть, среди них дядя Кеша. И вдруг слышу, крики, стук. А мы с мамой в огороде, она мне:

– Павлик, беги, чё-то шумят больно!

Я в зимовье, гляжу: мужики отца моего и дядю Кешу растаскивают, лавки повалены, четверть по столу катится, водка льётся из горлышка... Заспорили о политике, о социализме, и до кулаков у родных братьев дошло... Дядя Кеша в этой свалке руку обжог о плиту...

В дядю Кешу идеи революции крепко засели: царей – взашей, дворцам – война, труженикам города и деревни земной рай в мозолистые руки. И ведь никакие коммунистические газеты в Драгоценке (там их быть не могло) его не обрабатывали, никакое радио не пело в уши. Наоборот, сколько живых примеров, подтверждающих обратное для мозолистых рук...

Родного брата Семёна того же взять... А работа СМЕРШа в 1945-м... Был же у отца крепкий иммунитет на большевиков. Он-то, казалось, пацаном Гражданскую видел, пороху не нюхал... Только и всего – со своей лошастью привлекался белыми к работе в обозе – перевозил грузы для военных нужд. В одной поездке заразился тифом, но его мать, моя бабушка, выходила...

В начале 1956-го брат Афанасий с семьёй переехал из Новосибирской области в посёлок Песчаное Павлодарской области. Меня родители отправили с ним. Жили на квартире у младшего сына Иннокентия Фёдоровича – Николая. Он с двадцать шестого года. Тоже, кстати, из тех, кто убежал в Советский Союз. В 1948 году махнул. Повезло, политическую 58-ю статью не вlepили. Но не на сто процентов с распростёртыми объятиями был встречен родиной патриотический порыв. За переход границы три года отсидел.

Дядя Кеша жил в Песчаном вместе с дочкой Марией. Их домик почему-то назывался финским, хотя чухонцы никакого отношения к этому проекту не имели, таких домов строилось в Казахстане много, главным строительным материалом был камыш. Он в щиты собирался и с двух сторон обмазывался глиной... Соорудил дом дядя Кеша сам. Я частенько на пути из школы заходил к нему побеседовать. Дом стоял на берегу протоки Иртыша. Идеологические споры мы не заводили, куда уж мне, девятикласснику, соваться, расспрашивал дядю о Забайкалье, о жизни до революции в Кузнецово, о казачьей службе, о Гражданской войне, о Трёхречье, нашей родне... Что касается стародавней жизни, я с детства любопытствовал. В память врезалась картина... Дядя Кеша сидит в казачьей гимнастёрке, старенькая уже, для домашнего употребления, голова наголо острижена, сколько его помню – всегда почему-то под ноль стригся, сидит на стуле и смотрит в окно... Стояла весна, лёд только что сошёл, за окном тяжёлая, холодная вода протоки, заречные дали... Смотрит дядя Кеша задумчиво, как бы отвечая кому-то, говоря, вроде как и мне, и не только:

– Я думал, племянник, здесь по-другому жизнь устроена, не ожидал, что вот так.

В принципе, отказался от своих убеждений. Брату своему, отцу моему напрямую сказать не мог, гордость не позволяла, а мне...

В 1964 году, жил уже в Лесосибирске, пошёл на автобусную остановку, упал и умер мгновенно.

По атуре был азартный, нетерпеливый. Может, думается мне, потому и клюнул на быстро-сладкие идеи рая на земле – равенства, безбожного коммунизма-материализма? Любил карты, бега. Ни одни скачки в Драгоценке без его бегунцов не обходились. Не мелочился – славился большими ставками. И картёжник заядлый, мог проиграться в пух и прах, но и выигрывал, случалось, помногу. Характер горячий, уж если заусилось – остановиться не мог. Или пан, или голова в кустах.

Почему рано умер? Однажды выиграл в карты большой капитал. Отец говорил: в переводе на лошадей – с десятков добрых коней мог купить на те деньги. Видать, выпивка была. Хотя вот здесь дядя Кеша отличался умеренностью. В отношении вина больше на дядю Федю походил, чем на моего отца. Отец запросто мог потерять меру, дядя Кеша никогда не напивался. После крупного выигрыша, кажется, в буру играли, соперники, их было двое, из зависти набросились на него с кулаками. Не могли примириться с проигрышем. Где игра, там обязательно есть недовольные, бес это знает, ну и сработал, подтолкнул на драку... Возможно, проигравшие деньги хотели отобрать. Дядю Кешу с ног сбить – это сильно постараться надо было, при невысоком росте кряжистый, сильный. Из такого мужика двух можно было выкроить. Всё же шкворнем по голове достали... Подленько, сзади... Долго отлёживался и потом жаловался на головные боли... Через много лет травма сказала роковым образом.

Сыновья, Михаил (умер в 1949-м от аппендицита в Драгоценке) и Прокопий, уже были в силе, отомстили на следующий день за отца, бока обидчикам намяли, мало тем не показалось. Прокопий боксом занимался...

Отец мой, кстати, тоже по натуре был азартным, но в карты не садился... Бега – да... А ещё охота... Как сейчас помню, я мальцом-первоклашкой прихожу из школы, во дворе стоят сани, на них волк убитый, волков много водилось в Трёхречье, у этого вместо лапы культя торчит... Спрашиваю отца:

– Что такое?

– В капкан попадал, отгрыз и ушёл.

Меня это поразило, даже попытался укусить себя за руку – больно ведь... А тут отгрыз лапу напрочь...

Прокопию судьба выпала жестокая. Освободившись из лагеря, остался в Красноярском крае. От природы способный, выучился на буровика, стал начальником буровой установки в геологоразведке. В 1966 году я в институтском читальном зале открываю «Огонёк» – ой, батюшки! На второй странице обложки Прокопий Иннокентьевич! У буровой установки. В каске... Без того здоровый мужик, в брезентовой робе – вообще богатырь! Такой казачина бравый... Как я обрадовался. Побежал в киоск, купил журнал, товарищам хвастаюсь:

– Видите, брат двоюродный! Прокопий!

Он поколесил с геологами по Красноярскому краю. А семья жила в Норильске, туда же переманил потом сестру Марию из Казахстана. В Норильске родились у Прокопия сыновья: Толик и Саша. Толик – умница, поступил в Ленинградский университет. Без всякого блата с первого раза на одни пятёрки экзамены сдал.

Последний раз мне удалось увидеть Прокопия в 1981-м. Неожиданно подвернулась командировка. Начальник вызывает к себе и начинает просительным тоном:

– Павел Ефимович, надо в Норильск слетать. Срочно.

Декабрь месяц, холодина. В Норильске вообще жуть стояла, ниже сорока пяти температура и с ветром. В Драгоценке такое бывало, но я уже отвык. Начальник не знал, что у меня за Полярным кругом родственники. Я восторженные эмоции дипломатично не показываю, смолчал, что в Норильске брат, к нему бы и в шестьдесят градусов не испугался...

– Надо, – говорю, – так куда денешься.

– Я в долгу не останусь, – обрадовался начальник.

Сдержал слово, премию выписал. И я побывал в местах, где два брата каторгу отбывали.

Прокопий, бедолага, был прикован к постели. Паралич. Жалкая картина. Не разговаривал. Сестра предупредила: может не признать. Но узнал. Я рассказал о родных: братьях, сёстрах, дядюшках. Кивал головой... По жизни Прокопий не любил пьяных, кривился, когда водкой от тебя пахнет... Я, как приехал, с мороза выпил стопочку, не удержался под пельмени, поэтому старался в сторону от него говорить...

Умер, Царствие ему Небесное, через два месяца.

Иногда думаю: Бог пожалел Прокопия, дал ему смерть раньше сыновей. Толик через год после него...

Похоронив Прокопия, жена его Катя перебралась, как у них говорят, «на материк», в Красноярск. Толик окончил первый курс университета в Ленинграде. А на втором заболел воспалением мозга. Не исключая, сказались климатические условия севера – солнца мало, полярная ночь... Врачи не сразу определили, что к чему. Температура скачет, головные боли. Учиться нет никакой возможности, Толик взял академический отпуск, поехал в Красноярск... Пошёл по врачам. Лечили его, но на какое-то время боль отпустит и снова... У меня голова болит, как пожадничаю парной... Переусердствую, а часа через полтора начинается... Если нет под рукой таблетки – аспирин хорошо помогает – на стенку готов лезть, настолько выматывающая душу боль. Страшно представить, когда подобные мученья нельзя ничем унять, и они изо дня в день... Толик не выдержал. Мать вечером приходит с работы, а на столе записка: «Мама, пожалуйста, не суди меня...» Сначала перерезал вены дома... Но, видно, не мог уже терпеть, жили недалеко от затона, бросился в прорубь. Ещё и двадцати не было парню...

Младший сын Саша активно занимался борьбой. По физическим данным в отца. Кандидат в мастера. Отслужил армию в спортроте. Демобилизовался, а тут перестройка, попал в компанию. Его тётка, моя двоюродная сестра Мария Иннокентьевна, рассказывала. Как-то Саша пришёл домой с товарищем и принёс чемоданчик. Посидели, попили чаю, ушли. Мать Сашина стала делать уборку в комнате сына, глядь – чужой дипломат. Женщина есть женщина, любопытства ради открыла и ужаснулась – деньги. Тогда ещё были купюры с портретом Ленина. В дипломате сплошь двадцатипятирублёвые и десятки. Стала спрашивать сына. Он:

– Мам, не бери в голову, друзья попросили.

Дескать, он и не знал, что там деньги. Месяца через два собрался ехать в Новосибирск, матери сказал:

– Еду на соревнования.

Милиция следила за их бандой. В частном секторе в Новосибирске окружили дом. Предложили сдать. Банда не согласилась. Началась перестрелка. Саша решил прорываться, выскочил через окно, кулаком сбил милиционера, что оказался на пути, потом перемахнул забор... Но операция проводилась основательно, возможные пути отступления перекрыли – другой милиционер прямо в лоб Саше выстрелил.

Тогда наркотики только-только начинались, Сашина банда занималась этой заразой. За месяц до своей смерти Саша приезжал в Норильск. Уверен, не ради того, чтобы погостить у своей родной тётушки Марии Иннокентьевны. Та после Сашиних похорон вернулась из Красноярска, к ней заявили с обыском из КГБ. Комитетчики в Сашиной записной книжке нашли норильский адрес и тут же стали проверять родственницу убиенного на причастность к наркоторговле.

Так и погибли Толик с Сашей. В 1994 году я был на их могилке в Красноярске, лежат в одной оградке... А Прокопий упокоился в вечной мерзлоте...

Троебратное

Боже, каким отец ходил счастливым, получив первое письмо от Гани из лагеря. Конечно, и мама, но та сдерживалась на людях. Отец светился, всем докладывал:

– Сына нашёл! Гавриил Ефимович, старший мой, откликнулся! Жив, Ганя, жив казак!

Ганя после лагеря подался в строители. Ирония судьбы или ещё как назови: в Казахстане казаки-забайкальцы, изгнанные сначала Россией в Маньчжурию, а потом Китаем в Советский Союз, сделали ещё одну попытку собраться вместе... В Новосибирской области родители прожили более двух лет. Быстро поняли: оставаться на птицеферме – тупик. Совхоз никакого жилья, кроме барака, не мог предоставить, строиться отец не видел смысла. Он вёл переписку с земляками, один из них – Кузьма Матвеевич Музурантов – позвал в Казахстан. Было двое Музурантовых – Кузьма и Андрей... У них возникла идея подтянуть трёхреченцев в Троебратное. Село стояло в пятнадцати километрах от границы Казахстана с Россией, и оказалось на железнодорожной ветке Курган – Кокчетав, построенной под освоение целины. Станцию назвали Пресногорьковская, в двадцати пяти километрах был районный центр Пресногорьковское, бывшая казачья станица Сибирского казачьего войска, одна из тех, что стояли по Горькой линии.

Чем соблазнял Музурантов земляков, сзывая их в Троебратное – наличием дешёвого и даже почти дармового стройматериала. На узловой Пресногорьковской станции находился пункт мытья товарных вагонов. Поставили под это дело паровоз для подачи горячей воды... Вагоны из-под цемента. Его возили не в мешках. Дуроты на целине хватало выше крыши. Я впервые поехал в Троебратное в июне 1957-го, выхожу на перрон, и в нос ударил винный запах. На платформе гниют огромные бурты зерна, что осенью не вывезли... Цемент разгружали так, что на полу вагона оставалось как минимум по щиколотку, а то и по колено первоклассного стройматериала. Собирай перед помывкой вагона, забирай – это уже ничьё. Дармовыми были добротные стойки, которыми крепился пиломатериал на платформах. И сам пиломатериал шёл большим потоком на целину, приобрести его, в том числе и вполне официально, не составляло труда. За пиломатериалом на станцию приезжали снабженцы целинных совхозов, и всегда можно было договориться с кем-нибудь из них купить кубометр-другой досок. Без проблем было запастись кормом для скота на зиму. Осенью водители-солдаты машину зерна предлагали за литр водки.

Трёхреченцы начали кучковаться в Троебратном. Ехали из Новосибирской, Омской, Курганской областей. Железная дорога делила село на две части. Трёхреченцы стали массово строиться в одной из них. Только Музурантовы поставили восемь домов. По дому каждый из братьев, а также детям.

Отец мой два дома построил. Первый по забайкальскому способу – мазанку. Рубится чаща, ивняк, из него плетётся плетень на каждую стену. Плетень обмазывают глиной – вот тебе и стены. Сенки пристраиваются. Осень, зиму и весну в мазанке прожили, а потом шлакоблоки лили и к следующей зиме стены обложили блоками. В конце пятидесятых ещё один дом отец выстроил. И братьям, Гане и Мите, по дому поставили.

Ганя жил строительством. И официально в строительной организации работал, и подрабатывал... Как-то при мне начал считать, сколько домов его руками возведено в Троебратном в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов. Получилось, только казакам-трёхреченцам – четырнадцать. Строил кирпичную школу-десятилетку, клуб кирпичный. Я в него после армии ходил...

Мы жили по улице Интернациональной, на ней домов пятнадцать принадлежало выходцам из Маньчжурии: с Трёхречья, а также с КВЖД, как мы говорили – «с линии». А всего в Троебратном до развала Союза жило более восьмидесяти семей трёхреченцев и их детей...

Только Кокушиных – десять, Музурантовых, как уже говорил, – восемь, Лелековых – шесть, Брагиных – пять семей, Фоминых – четыре...

Сейчас в Троебратном, в той части, где мы жили, как после войны. Остовы домов торчат... Школы, будто не было – по кирпичикам разобрали, от клуба я нашёл один фундамент. А казаки только под крестами на кладбище. Могил двести трёхреченцев. Царствие им Небесное. В прошлом году был в Троебратном. Мама с папой лежат в той земле, дядя Федя, тётя Харитинья, старший брат Ганя, жена его, двоюродный брат Николай Фёдорович – мой крёстный... В девяностые годы основная масса потомков казаков ушла из Троебратного, благо Россия рядом. Вот и получилось: из Забайкалья вытеснила революция и коллективизация, из Маньчжурии – китайская революция, из Казахстана – перестройка...

Кладбище в Троебратном не заброшенное. Один предприниматель (потомок трёхреченцев) забор добротный поставил, скот не топчет могилы. Поклонился я родным бугоркам, помолился у родных крестов, поплакал у памятника моего крестника – Алексея Гавриловича Кокушина...

Чекисты держали под контролем Троебратное. Алексей, старшин сын Гани, рос в отца – физически сильный, характером заводила. Мы его полугодовалим в 1958-м в Кургане крестили. Батюшка в солидном возрасте, старик, но крепкий, борода чёрная, строго вопрошает меня:

– Знаешь, что восприемник в случае смерти родителей берёт на себя заботу о крестнике?

Видит, я молодой, зелёный совсем, девятнадцать только-только исполнилось.

– Знаю, – твёрдо ответил батюшке.

Алёшка разорался, как водой его батюшка обливать начал... Крикливым рос...

Получилось – не крестник провожал к могиле восприемника, а наоборот...

Алексей отменно в хоккей играл. Его команда по всему району первенствовала. Он и тренер, и капитан, и организатор заливки льда, выбивания экипировки. Рассказывал, в райком комсомола пришёл просить форму, спортивный инвентарь. Так и так, объясняет, группа ребят подобралась, двадцать пять человек, хорошая команда, три раза в неделю тренируемся... А ему с подозрением:

– И что, вы сами организовались? Так вы далеко можете пойти в своей самостоятельности.

Чекисты в Троебратном хлеб честно отработывали. В Драгоценке среди посельщиков находились агенты НКВД, и в Троебратном не обошлось без осведомителей. Был такой Пешкин, потом-то узнали: сексотничал об умонастроениях односельчан-трёхреченцев. Для чекистов мы не простые целинники – из белогвардейской заграницы, как таких без внимания оставить. Ещё и ухитрились после Китая самовольно съехаться вместе, пользуясь либерализмом властей. Алексей – лидер среди молодёжи. Постоянно на виду был: в школе, в клубе, на стадионе. В округ него круговерть – друзья, товарищи... Алексея, призвав в армию, наладили, как мужика головастого и умелого, в элитные части – в стройбат. На Семипалатинский полигон. Шахты оборудовать для испытания атомного оружия. Нахватался там, бедняга, радиации.

Казацкие гены не так-то просто получилось угасить. Алексей вернулся из армии, женился, троих детей родили с женой, а потом у него все ногти выпали. В сорок три года умер. И брат его младший Николай в стройбате служил. Правда, в Капустином яре, на ракетном полигоне. Наверное, и среднего сына Гани, Павла, засунули бы как какого-нибудь штрафника-уголовника, но тот призывался не из Троебратного, а из Кургана, его в танковые части направили.

У Гани была бумага официальная о реабилитации, он её сжёг... Повторял:

– Хозяин собаку обидит, она до смерти будет зло помнить, так и я.

Выбросил в печку документ о реабилитации:

– Что он мне? Разве вернёт годы, что в лагере провёл?!

А могла бы та бумажка пригодиться. У Гани два сына, за пятьдесят обоим, получали бы компенсацию, как дети репрессированного, пусть небольшую, но всё же рублей триста с чем-то, какие-то льготы по коммунальным платежам.

Я сочинил письмо от имени племянников, будто они сами сделали запрос. Пошёл в ФСБ, пропуск выписали, рассказал, что к чему, заявление от племянников оставил, через месяц пришёл ответ. Оказывается, никакой реабилитации брат не подлежит. Получилось, документ о полной реабилитации, который сжёг, ему по недосмотру выдали. По политической 58-й он действительно реабилитирован. Но ведь кроме 58-й у него статья за незаконный переход границы. А это совсем другое дело, по нему реабилитация не предусмотрена.

Афанасий и Митя

...Как-то не спалось, начал считать, и у меня получилось только из тех, кого знал лично, или наши рассказывали, человек пятьдесят ребят-трёхреченцев убежали в Советский Союз. Чаще переходили Аргунь зимой. В августе сорок пятого пришла Красная армия, brave русские парни, красивые, сильные, победные принесли с собой дух России, заломившей хребет Германии. В этой стране можно стать танкистом, лётчиком, учёным... В ней от восточной границы до западной две недели ехать на поезде... Там Москва с Кремлём, о котором рассказывали в школе, который видели некоторые казаки-забайкальцы, воевавшие в Первую мировую. Там русские братья. Там будущее. А в Китае ты иностранец, и чем дальше, тем холоднее отношение к русским...

Брат мой Афанасий Ефимович с двадцать седьмого года... Сыновья у моих родителей рождались тройками и погодками. Первая тройка: Гавриил, Афанасий, Дмитрий – двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого годов рождения. Вторая – тридцать девятый, сороковой, сорок первый.... Старшая сестра Тоня с тридцатого года, младшая сестрёнка Галя с пятьдесят второго.

В Драгоценке школа была семилетка, а в сорок шестом сделали десятилетку. Афанасий в первом выпуске, в сорок седьмом окончил. Как сейчас помню: в школе старшекласники представление дают, на сцене брусья гимнастические, мой брат Афанасий подходит к снаряду и пошёл показывать фигуры «высшего пилотажа»... Невысокий, крепкий, стройный... Я, само собой, сидел гордый...

Он, как выяснилось, ещё в школе вынашивал с друзьями планы, наострились махнуть через границу. После сорок пятого появились советские учебники, книги. Учителя говорили: вас ждёт ваша Родина, вы нужны ей. В сорок восьмом, сразу после Крещения, Афанасий с двумя друзьями рванул. Взяли нашу лошадь – воспользовались моментом, отца с матерью дома не было, – запрягли в сани и дёру... Поехали вчетвером, один в качестве сопровождающего – лошадь пригнать обратно. Отец возвращается, глядь, саней нет, коня нет... С перекошенным лицом вбежал в избу:

– Где этот стервец? Когда уехал?

У меня за день до этого горло заложило, мама не велела выходить из избы, на полатах сидел, поэтому не видел, когда Афанасий улизнул. Мне он ни слова не сказал. Отец в седло и в погоню. Снегов в Трёхречье больших не выпадало, в сильные морозы земля растрескивалась. Всегда была опасность, лошадь (особенно, если подслеповатая) могла угодить ногой в трещину. Нога ломалась как спичка. Бог отца миловал, на бегунце Урёшке вёрст за десять до границы по санному следу настиг беглецов, завернул.

Афанасий после этого уехал в Харбин на повышенные ветеринарные курсы при КВЖД. Но не окончил их, с год поучился, бросил, вернулся в Драгоценку и пошёл в школу преподавать географию...

После неудачной попытки Афанасия младший Кокушин из первой тройки сыновей – Дмитрий – наладился в побег на советскую сторону. По льду и тоже с друзьями. Перешли границу и сдались пограничникам: хотим жить в России, а не на чужбине у китайцев. От него отец никак не ожидал такой прыти. Митя с детства страдал болезнью ног. До трёх лет вообще только ползал. Потом по молитвам матери поднялся на ноги. Но всю жизнь ходил тяжело. Среднего роста, кряжистый, хоть куда парень, а походка ненормальная... Физический недостаток не остановил, отправился за границу. Он и ещё четверо или пятеро таких же романтиков. Сговорились, лошадь тайком взяли, теперь уже не у нас, также нашли провожатого – лошадь вернуть. Всё получилось в лучшем виде. По льду перешли Аргунь и к пограничникам: вот мы, молодые и красивые, хотим жить в Советском Союзе, принимайте патриотов.

Пограничники, само собой, сграбастали нарушителей. И случилось невероятное – выгнали обратно: мотайте в свой Китай, и чтоб духу вашего здесь не было. Я хорошо запомнил, как Митя вернулся в Драгоценку. У меня дружок был, Витька Шароглазов. Он забегает к нам во двор:

– Ваш Митька вернулся!

Увидел нашего скорохода на улице, обогнал, спеша сообщить мне радостную весть. Отец на крыльце стоял, смотрю, у него слёзы на глазах. Думал, Митя, как и Ганя, исчезнет бесследно. После убёга Мити отец места себе не находил, корил себя, что не уберёг сына, не нашёл убедительный слов...

Двадцать дней пробыл Митя с друзьями в Советском Союзе... Пока решалась судьба перебежчиков, их, искателей интересной жизни, привлекли к общественно-полезному труду – пилить дрова на нужды погранзаставы. Митя пообщался с пограничниками, поговорил с местными жителями. Воочию увидел послевоенную колхозную деревню. А что она была? У колхозника в подворье коровёнка, с пяток овец, пару свиней, одежка самая примитивная. Разве сравнить даже с худшими хозяйствами в Драгоценке...

Но Мите повезло. Думаю, НКВД сбой дал, не достал чёрные списки на Кокушиных, из которых явствовало, что дядя перебежчика – Семён Фёдорович – восстание поднял в тридцать первом, родной брат Гавриил и двоюродный Прокопий уже в лагерях с клеймом «политические», там же в ГУЛАГе двоюродный брат Артём... А, может, изменилось отношение к перебежчикам? Китай зароптал, жалко стало: народ уходит, оголяется приграничный район, если все побегут, кто будет держать северные территории. Дмитрия и его товарищей наладили пограничники обратно в Маньчжурию: идите вон, и чтоб больше вас не видели. После них так со многими поступали.

А за месяц до Мити наш двоюродный брат Николай Иннокентьевич, двадцать шестого года рождения, Прокопия родной брат, убежал за Аргунь. Я о нём уже говорил, его не отпустили обратно, но и дали всего три года, только за переход границы. Отсидел и жил после лагеря в Красноярском крае. О нём мы узнали, когда приехали в Советский Союз. Писем посылать в Трёхречье из лагеря он даже с таким «детским» сроком не мог.

Всего ничего «гостил» наш Митя в Советском Союзе, но когда в 1954-м родители засобирались в Россию, категорически заявил:

– Ни за что!

Ругань стояла дома несколько дней, война шла на смерть. И отца отговаривал. Хотел в Австралию.

Митя потом (умер, Царствие ему Небесное, в 2007 году) говорил:

– Павлик, я пожалел вас, отцу было уже пятьдесят, а вас у него четверо, ты, самый старший, в седьмом классе, Гале всего два года. Как вы в нищей стране будете жить?

Патриотизм Митин рассеялся за несколько дней, что провёл на погранзаставе...

Ух, как он коммунистов материл, Ленина... Жил брат в Кургане. Сына воспитал. Был случай, работал Митя на мелькомбинате простым рабочим, образование-то всего четыре класса, и попал в медвытрезвитель. Это середина семидесятых. У Мити натура: как подопьёт – говорил во сне. По полночи мог ораторствовать. И не отдельными фразами, нет, чешет, как с трибуны, связано, пространно... И всегда материл большевиков... Тема номер один в пьяном сне. Целые монологи произносил. Над ним частенько подшучивали по этому поводу. В трезвом состоянии молчун, что спросишь – односложно пробасит, зато во сне, после того как примет стакан другой водки, как пойдёт выговариваться, выплёскивать накипевшее. Ганя смеялся:

– Митя, ты сегодня ночью прямо как Ленин на броневике».

– Хоть кто, только не Ленин, – смущался и возмущался Митя.

Забрали его в вытрезвитель. Отметили мужики день мукомола (получку) да Митя не рассчитал силёнок, денёк был явно не в его пользу, и загремел в весёлое заведение. Как сам говорил:

– Впервые в жизни отметился в вытрезвоне.

И развенчался по своему пьяному обыкновению среди ночи. Во сне произнёс горячую антикоммунистическую речь, богато унавоженную матами. Особенно нажимал в адрес Владимира Ильича. И по соратникам его революционным прошёлся. Всем, не скупясь, поднёс по матушке и по бабушке. Как назло ни один сокамерник не проснулся, не толкнул в бок оратора: хватит базлаить, не мешай спать! Дрыхли на соседних койках мертвецким сном. Митя и разошёлся без тормозов.

Утром лейтенант вызывает:

– Ты чё это, мать твою, нёс ночью?

Митя тоже не дурак:

– Откуда знаю? Пьяный в драбадан, за что и сграбастали ваши!

– Да за такие слова мало на Колыму упечь!

Митя тупо бубнит:

– Ничего не знаю, мало ли что с пьяных глаз человек во сне намолотить может. Работаю хорошо, на Доске почёта второй срок вишу.

Отбрехался.

Но двадцать пять рублей лейтенант с него слупил сверх оплаты за предоставленные услуги. Восемьдесят было в карманах у Мити, четвертную за политическую неблагонадёжность лейтенант конфисковал в свой карман:

– В следующий раз думай, когда спишь.

Митя рублей сто пятьдесят получал – в копеечку влетела ему пламенная речь.

Пропастину из Кремля

Я раз в подпитии тоже, было дело, намолол. Срок бы не получил, не те стояли времена, но из института могли вытурить. Сначала из комсомола, а дальше автоматически из института. Учился на последнем курсе, приехал после каникул из Троебратного на неделю раньше, дома подзаработал денег, хотел в Омске ботинки да пальто на зиму купить. В институт заскочил и с Олегом Морозовым столкнулся нос к носу, из нашей группы парень. Олег из комитета комсомола выходит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.